

# Хроника научной жизни

## Упражнения в искусстве репаративности:

ПАРАДОКСЫ БЛИЗОСТИ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

2020—2021 ГОДОВ

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_173\_1\_403

За последние полтора года замкнутое пространство из геометрической и геополитической абстракции превратилось в новую данность, которую мы должны принять, чтобы сохранить за собой возможность жить, работать и учиться. Но понимание того, что от способности оставаться в четырех стенах зависит едва ли не наша жизнь, не спасает от боязни тесноты, а также эмоциональной клаустрофобии как реакции на подавляющую близость других тел, с которыми нам приходится делить минимальное жизненное пространство. Провоцируя эти страхи, пандемия вынудила нас признать, что право свободно устанавливать и снимать границы — привилегия менее тревожных времен и что пока нам не остается ничего иного, кроме как словом и делом доказывать свою способность работать дальше — в реальности, где досуг и труд, угроза и интимность, память о катастрофах прошлого и антиутопические фантазии постоянно подменяют друг друга.

Этот обзор — попытка рассмотреть перечисленные вопросы на материале онлайн-конференций, проходивших в этом и прошлом году в университетах и культурных институтах Германии, России и США. На выбор конференций главным образом повлияла испытываемая мной потребность посещать в этот период те мероприятия, с которыми я, русскоязычная аспирантка немецкого университета, настигнутая пандемией за две тысячи километров от семьи и друзей, могла бы соотнести себя не только интеллектуально, но и экзистенциально, то есть через частный опыт жизни среди тел, отделенных от меня лингвистическими, культурными, религиозными различиями, но все же разделяющими мое безотчетное знание, каково это — жить в этом месте в конкретное время. Именно этой потребностью объясняется пристальное внимание обзора к темам родины и дома, постмиграции, аффекта, близости.

Может ли теория проникать в приватное пространство и влиять на то, как мы взаимодействуем с Другим, недостижимым для нас мыслительно или эмоционально? При осмыслении этого вопроса и озвученных тем я опираюсь на концепцию репаративного чтения (англ. *reparative reading*) американской феминистки Ив Кософски Седжвик, одной из первых обратившей внимание на то, что по боль-

шому счету существует две модели взаимодействия с дискурсом Другого<sup>1</sup>. Первая параноидальная модель взаимодействия или чтения восходит к критической традиции «герменевтики подозрения»<sup>2</sup> и строится на убеждении, что Другой как объект изучения (в работе Поля Рикера, в которой изложены базовые принципы герменевтики подозрения, этими Другими выступают Маркс, Ницше и Фрейд) всячески пытается отвлечь внимание читателя от действительных обстоятельств и мотивов, побудивших его к созданию того или иного философского высказывания.

Вторым источником при описании параноидальной модели чтения для Кософски Седжвик являются работы Мелани Кляйн о механизмах расщепления в детской психике. Соединив посылки, на которых основаны оба рассуждения, а именно: мысль Рикера, что для разоблачения Другого нужно мыслить как Другой, и предположение Кляйн, что сознание всегда пытается защититься от неопределенности, — Кософски Седжвик приходит к выводу, что при параноидальном чтении субъект интернализирует негативный образ Другого, чтобы, сверяясь с этой психологической проекцией, предугадывать ход мыслей, опережать выпады и раскрывать заговоры воображаемого врага.

Параноидальному чтению Кософски Седжвик противопоставляет репаративную модель, в основе которой лежит принципиально иная логика производства знания: в то время как параноик претендует на всеохватывающее и универсальное представление о Другом (эта всеохватность лишь психологическая иллюзия, результат совпадения самоисполняющегося пророчества), субъект в репаративной позиции приступает к чтению знаков дружости без подозрений и ожиданий и, как следствие, на каждом шагу наталкивается на что-то, что ускользает от его понимания, — «фрагменты желаний, возвращающиеся к нам неизвестно откуда», чтобы разрушить заученную практику линейного толкования<sup>3</sup>. Но вместо того чтобы отвергать или демонизировать смысловой и аффективный «излишек» знака, Кософски Седжвик предлагает рассматривать его как неисчерпаемый в своем значении сигнал, откликаясь на который субъект открывается навстречу удовольствию и непрогнозируемому переживанию близости с Другим.

Выбор в пользу определенной модели чтения напрямую зависит от того, с каким действием теоретик связывает надежды на преодоление той или иной проблематичной ситуации.

## Дом

«Дом — место, где все остается таким, каким никогда не было» — под таким названием с 3 по 5 декабря 2020 года проходила конференция, организованная Эйнштейновским форумом (Потсдам, Германия), участникам которой было предложено поразмышлять о доме как фантазии, порождаемой естественной человеческой потребностью в укромном месте, способном защитить от любой, внешней и внутренней, воплощенной и невидимой опасности. От того, останется ли родина оплотом покоя или, напротив, окажется площадкой военных действий и приютом

- 
- 1 *Kosofsky Sedgwick E.* Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You're So Paranoid, You Probably Think This Essay Is About You // *Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity.* Durham, London: Duke University Press, 2003. P. 123–153.
  - 2 *Ricoeur P.* Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation. New Haven; London: Yale University Press, 1970. P. 32.
  - 3 *Ritchie M.* Regurgitative Reading // *Capacious: Journal for Emerging Affect Inquiry.* 2018. Vol. 1. No. 3. P. 27.

для Другого, напрямую зависит, какую оценку получит исторический период, будет ли он осмыслен как благополучный или бурный и драматичный. Но что лежит в основе этого осмысления и чем обусловлены его притязания на легитимность? Отталкиваясь от этих вопросов, организаторы конференции выдвинули на первый план негативные аффекты, возникающие в «кризисный» период: страхи, тревоги, стыд, ненависть, — чтобы нащупать в ситуации кризиса тот внутренний предел, за которым, возможно, лежит новое понимание дома.

С некоторой долей условности доклады участников конференции можно разделить на две группы, в зависимости от того, какие цели они ставили перед собой при взаимодействии с проблематикой конференции. Докладчики в первой, «критической» группе — писательница *Мария Сесилия Барбетта*, искусствовед *Бритта Хохкирхен*, германист *Натали Мозер*, литературовед *Аня Эстерхельт* — стремились указать на то, за счет каких культурных механизмов отрицания и практик воображения существует идеалистическое понимание дома как пространства свободного от всего чужого, к каким нечеловеческим агентам оно также применимо и на каких мыслительных, а также культурно-исторических предпосылках держится антагонизм родного дома (нем. *Heimat*) и бездомности (нем. *Heimatlosigkeit*).

В частности, важным представляется вывод доклада Ани Эстерхельт *«Дом и классовая борьба. Дальнейшая судьба исторического концепта дома в современности»* о том, что современное понимание дома имеет вполне определенное социокультурное происхождение — оно восходит ко второй половине XIX века и является, как и буржуазная семья, продуктом зрелого капитализма. По этой причине дом как эмоционально нагруженное понятие обретает привычные нам черты лишь через соотнесенность с частной жизнью среднего класса. Примерно в это же время, продолжает Эстерхельт, дом начинает активно использоваться в качестве инструмента классовой и социальной дифференциации населения: будучи противопоставленной космополитизму аристократии, с одной стороны, и бездомности низших классов — с другой, привязанность к родине выступала одним из важнейших эмоциональных критериев принадлежности к среднему классу.

В докладе Натали Мозер *«От „Heimat Berlin“ до „Dr. Heimat“: Нарративы происхождения и прибытия в современной немецкоязычной литературе»* основное внимание было уделено проблеме изобразимости дома в современной словесности. Отталкиваясь от двух автобиографических текстов — романа Яна Брандта *«Дом за городом / Квартира в городе»* (2019) и *«Происхождения»* (2019) Саши Станишич, Мозер стремилась показать, что ни одна из устоявшихся повествовательных схем не может в полной мере отразить сложный опыт обладания домом в наши дни. Тексты Брандта и Станишич служат для Мозер примером того, как по-разному литература может работать с двумя нарративами, традиционно используемыми для повествования о родном доме, — нарративами прибытия и происхождения. Так, Брандт рассказывает об обретении дома как о приключении, начало которому кладет переезд героя из сельской местности в город. В то же время Станишич отказывается видеть в фигурах прибытия и происхождения две отдельные, противопоставленные друг другу модели опыта. Организуя повествование сценически, Станишич постоянно сталкивает обе нарративные схемы, заставляет их подрывать и обнажать пределы достоверности друг друга, тем самым побуждая читателя активно соучаствовать в соединении разнородных повествовательных элементов в воображаемое, протяженное в пространстве единство.

Наконец, Бритта Хохкирхен в докладе *«Выставка „дома“? О проблеме принадлежности в искусстве»* предлагает исследовать дискурс о родине и доме как частный случай взаимодействия с «проблемой отношения» в рамках современности, в которой национальная, религиозная, классовая, профессиональная принад-

лежность не является чем-то само собой разумеющимся. Под этим углом зрения выясняется, что обладание родиной или родным домом определяет не только человека, но и произведение искусства. Какое искусство считается бездомным, а какое нет, по мнению Хохкирхен, напрямую зависит от того, где выставляются его предметы: в галереях, в которых ни один экспонат не задерживается дольше, чем на время проведения выставки, или в пространстве национальных музеев, в которых постоянные коллекции хранятся и выставляются «как у себя дома». При этом кажется, что логика передвижения предметов искусства также может быть описана через отсылки к происхождению (тому, к какой частной или музейной коллекции принадлежит экспонат) или прибытию (тому, в каких выставках принимал участие экспонат). Однако, в отличие от Мозер, Хохкирхен интересуется не столько то, можно ли ответить на вопрос «Что является родиной бездомного (индивида или предмета искусства)?», сколько то, почему этот вопрос задается. Сравнение обеих выставочных систем позволяет Хохкирхен показать, что ставки в разговоре о родине искусства довольно высоки: в конечном итоге речь идет не столько о выяснении пространственных ориентиров, сколько о попытках фиксировать интерпретацию произведения посредством влияния на его пространственную мобильность.

Вторую, «терапевтическую» группу докладов составили те выступления, в которых исследователи пытались обозначить возможности и пределы трансформации проблематичных понятий и организованных вокруг них практик. Внутри этой перспективы участники конференции занимались изучением индивидуальных значений понятия «дом», а также пределов их примиримости друг с другом; изучением его психологического измерения и поиском новых инструментов репатриации, поиском точек опоры между локальным патриотизмом, популизмом и ксенофобией. Однако на фоне мировых событий последних полутора лет особое внимание обратил на себя доклад *Сюзанны Шарновски «Уйти, чтобы прийти. Дом, место и привязанность до, во время и после коронавируса»*. Больно ударив по идеалу безграничного, глобально связанного мира, в котором люди не привязаны к месту своего происхождения, пандемия в то же время способствовала соотношению абстрактного понятия с конкретным физическим пространством. Так, в начале прошлого года пребывание дома стало восприниматься как акт солидарности и гражданского самосознания, а эмпатия и забота о ближнем приобрели большую значимость, чем саморазвитие или индивидуальная свобода передвижения. На фоне ренессанса, который пережил концепт родного дома и края во время первой волны пандемии, европейцы с готовностью откликнулись на призывы политиков и средств массовой информации открывать для себя красоту родных мест.

С другой стороны, в цифровом пространстве обозначились безграничные возможности развлечений, общения и потребления. Стремительное развитие цифрового мира («мира не-мест»), на первый взгляд, должно было пойти вразрез с физически конкретным истолкованием родного дома. Тем не менее нарастающая виртуализация практик общения, работы, учебы привела к тому, что во время второй волны пандемии особое значение приобрели частная домашняя среда и атмосфера домашнего уюта, заставив экспертов говорить о появлении нового стиля жизни — хюгге, или бидермайера времен коронавируса. За смещением акцента с родины (нем. *Heimat*) как символического пространства, создаваемого воспоминаниями и эмоциями, на предельно объективированный мир частного дома (нем. *Heim*) с наполняющими его предметами и практиками наведения уюта, стоит защитная реакция общества на ускользающую от контроля реальность и утрату телесной осязаемости общения. Однако верность принципу «нет места лучше дома» (нем. *Trautes Heim, Glück allein*) опасна тем, что в этом доме может не найтись места для солидарности с Другим и готовности искать ответы на неудобные, но важные вопросы.

Конференция Эйнштейновского форума продемонстрировала, что даже в чрезвычайных условиях пандемии одну из своих главных задач участники академического дискурса продолжают видеть в повышении восприимчивости общества к парадоксам собственного существования, а также в избавлении общества от приятных, но чреватых впоследствии разочарованием иллюзий, которыми оно маскирует то, что не может изменить. Но подобная расстановка приоритетов далеко не однозначна, и чему именно гуманитарное сообщество должно отдать предпочтение при обсуждении пределов таких понятий, как дом, угроза, кризис — трезвому описанию скрытых противоречий или попыткам вникнуть, вчувствоваться в то, на что критик привык реагировать с недоверием, — этот вопрос открыт.

## Постмиграция. Реклейминг

Повод рассуждать над этим вопросом также дает онлайн-конференция Гамбургского университета «*Reclaim! Постмигрантские дискурсы присвоения*», прошедшая 17–18 сентября 2020 года. Название этого мероприятия отсылает к дискурсивной практике реклейминга (от англ. *reclaim* ‘требовать обратно, возвращать себе’), то есть присвоения дискриминируемой группой слова, служившего инструментом угнетения с целью его реконтекстуализации и создания для этого слова водущевающих и мобилизующих (англ. *empowering*) коннотаций.

В центре конференции Гамбургского университета стоял вопрос о том, можно ли распространить практику реклейминга на другие области общественной жизни и на более крупные единицы дискурса. В частности, последний, лингвистический аспект проблематики интересовал *Себастиана Ширрмайстера*, обратившегося в докладе «*Re-Claiming German(y): Практики присвоения у Деборы Фельдман и Томера Гарди*» к вопросу о том, какие аффекты могут сопровождать реклейминг и какими ресурсами располагает литература, чтобы превратить художественный прием, основанный на риторической переработке грамматических и лексических отклонений от стандартного варианта немецкого языка, в этическую позицию и диспозицию. В своем рассуждении Ширрмайстер опирался на два текста, написанные авторами еврейского происхождения на неродном для них немецком языке, — автобиографический роман Деборы Фельдман «Примирение» (2017) и «Ломаный немецкий» (2016) Томера Гарди. Поводом для их сопоставления послужили не просто многочисленные пересечения в биографиях Фельдман и Гарди, а фундаментальное сходство их нелитературных жизней: то, что Фельдман и Гарди входят в немецкоязычную словесность как потомки изгнанных из нацистской Германии евреев с целью вновь обрести отобранные культурные корни и право голоса, но уже на чужом для них языке. Ширрмайстер уточнил, что в борьбе за право называть немецкий язык своим Фельдман и Гарди используют совершенно разные средства: Фельдман, родной язык которой идиш, постоянно возвращается к аналогиям между немецким и идишем и с удовольствием останавливается на тех моментах в повествовании, в которых ее личную смесь языков, немецкий идиш, другие воспринимают как диалект. «Прощение» пишется по мере того, как Фельдман все лучше и лучше осваивает немецкий — отследить ее успехи в учебе позволяет сам текст романа, в котором все чаще появляются немецкие слова. Гарди, напротив, не изучает немецкий, а сразу начинает писать на нем, точнее, на своем собственном варианте немецкого языка, который он усвоил на слух и устно в общении с другими мигрантами в мультикультурной столице Германии. В небольшой книге Гарди нет ни одного предложения, отвечающего нормам стандартной грамматики, однако абсолютная «ломаность» этого языка не только не препятствует пониманию, но и делает возможным

появление по-настоящему уникального текста, в котором риторика и иностранный акцент, сложный художественный расчет и ошибка неотделимы друг от друга.

Другой плоскостью присвоения также может стать физическое пространство, в котором постмигрантские субъекты сосуществуют с теми, кто утвердил в дискурсе свое притязание на ту или иную территорию как первостепенное. В этой плоскости особый интерес представляют доклады *Феликса Лемппа* и совместное выступление *Яры Шмид* и *Юли Тиманн*. Лемпп обращается к спектаклю «Вовсе не здесь? Мы здесь!» Николаса Штеманна, поставленному в Гамбургском театре по пьесе Эльфриды Елинек «Опекаемые» (2013), чтобы исследовать, чем обусловлена изобразимость мигрантского опыта в сценическом пространстве. Смогут ли герои пьесы, беженцы (роли которых в постановке Штеманна исполняли непрофессиональные актеры, имевшие или имеющие статус беженца), вернуть себе (нем. *reclaimen*) местоимение «мы» и с его помощью войти в новые символические порядки языка и общественной сферы, отмечает Лемпп с опорой на политическую теорию пространства Ханны Арендт, напрямую зависит от того, удастся ли им, став зримыми на сцене, продемонстрировать способность действовать самостоятельно и автономно. Штеманн предоставляет хору беженцев такую возможность, побуждая исполнителей свободно работать с текстом: так, во втором акте спектакля хор выступает вперед и принимается скандировать отдельные пассажи пьесы Елинек, сначала по тексту, а затем — все больше и больше отдаляясь от него, меняя слова местами, вольно переводя сказанное на другие языки и, наконец, вовсе отделяясь от источника. Своеобразную кульминацию этой импровизации образует момент, когда участники хора начинают вплетать в речь рассказы о собственном опыте бегства в Европу, тем самым разрушая единство и собирательность категории «беженцы». Тем не менее совершаемая в этот момент трансформация сценического пространства, отмечает Лемпп, чрезвычайно мимолетна: она сходит на нет по мере того, как исполнители, подчиняясь динамике сценического действия, снова начинают выступать как единый хор, — и потому встает вопрос, в какой мере инсценируемая в театре способность беженцев действовать может быть перенесена во внетеатральный, городской контекст и закреплена в нем.

С городским пространством также непосредственно связан совместный доклад *Яры Шмид* и *Юле Тиманн* «*Они фланируют в знак протеста. Женское фланирование как контрдвижение*», в котором исследовательницы рассматривают женское фланирование как новую социальную практику, форму протеста, под знаком которого фланерки (фр. *flâneuse*, в противоположность мужской форме *flâneur*) добиваются превращения объектов наблюдения (цигендерных белых женщин, а также всех субъектов, которые не опознаются как однозначно белые мужские субъекты) в активно осваивающих город агентов. К размышлению над этой практикой авторов доклада подтолкнула интернет-дискуссия о том, что бы сделали женщины всего мира, если бы в 9 часов вечера всем мужчинам был бы объявлен комендантский час. Множество незнакомых друг с другом женщин оказались солидарны друг с другом в желании иметь возможность просто гулять в темное время суток одной, не испытывая страха за собственную жизнь и не нуждаясь в том, чтобы каждую секунду быть готовой к отпору. В своем докладе Шмид и Тиманн обратились прежде всего к литературным текстам, содержащим попытки заново открыть фланера, традиционно соотносимого с именами Шарля Боддера, Вальтера Беньямина, Роберта Вальзера, как женскую авторскую фигуру, а также осмыслить, какие формы совместного действия могут появиться благодаря такой приватной, но в то же время разделяемой многими фантазии.

Исследовательницы не формулируют однозначного вывода, однако именно он позволил бы прояснить один из самых острых вопросов в разговоре о реклейминге,

а именно: то, чем для дискриминируемого субъекта является возвращенное «наследие» — орудием возмездия или реликвией памяти? и что побуждает субъекта к реклеймингу, — ressentiment или жажда общения и жизни?

В очередной раз драматизируя противостояние двух теоретико-интерпретативных оптик, можно предположить, что параноидальная критика поставит участницам движения в заслугу, что они предвосхищают маневры того, кто стремится присвоить себе физическую и дискурсивную власть над пространством как средой совместного обитания белых и не белых, мужских и не мужских, цисгендерных и иных тел. В то же время репаративная критика увидит в сложившейся ситуации новую, спонтанно возникшую структуру отношений, в которых на первый план выходит не аскеза и самопожертвование во имя борьбы против общего врага, а гедонистический потенциал сестринства и солидарности — и в не меньшей степени любопытствующую открытость навстречу Другому, готовность к зрительному, вербальному, тактильному или ольфакторному контакту с ним и осознанию того, что внушающий страх незнакомец амбивалентен, то есть жесток и беспомощен, доброжелателен и враждебен одновременно.

Последнее открытие, пишет Кософски Седжвик с опорой на Кляйн, неизбежно связано с эмоциональным дискомфортом, окрашено чувством стыда за свою подозрительность и, в конце концов, неопределенность. Но именно эти негативные аффекты позволяют избежать ложной идеализации репаративной позиции (в противном случае она бы превратилась в структурного двойника параноидальной герменевтики) и сохранить за критическим субъектом возможность свободного передвижения между паранойей и депрессией, предвосхищением боли и завороченностью видом чужой, проживаемой отдельно от него жизни. В конце концов, продолжает Седжвик, ни одна из этих позиций ничуть не ближе к истине, чем другая, и «в мире, полном потерь, боли и угнетения обе эпистемологии, скорее всего, основаны на глубоком пессимизме: репаративный мотив поиска удовольствия... происходит... только с достижением депрессивной позиции»<sup>4</sup>. Трудно не согласиться с этим утверждением при виде того, как в описанной Шмид и Тиманн акции меланхолические тексты Беньямина и Вальзера дают импульс к страстному проявлению витальности через физическое движение, образование спонтанных сообществ, дезориентирующее столкновение настоящего и прошлого, литературы и жизни.

## Аффект

Также нередко негативные аффекты обнажают противоречия в представлениях сообщества о самом себе и объединяющих его ценностях. Изучению подобных аффектов, возникающих в связи с понятием родины, была посвящена онлайн-панель «Чувствительные места: эмоциональные переживания в современной памяти о войне» (15 июля 2020 года), организованная Центром изучения культурной памяти и символической политики в рамках конференции «Изучение коммеморации 75-летия Победы». Участникам панели, докладчикам и дискуссантам было предложено поразмышлять о роли аффективности в практиках коммеморации Великой Отечественной войны, об амбивалентности сопровождающих их аффектов, о том, каким образом эта сложная чувствительность способствует образованию новых связей между людьми и надындивидуальными субъектами.

Столь значимое для репаративной критики, равно как и для исследований аффекта, упразднение границы между субъектом и объектом, личным и коллектив-

4 Kosofsky Sedgwick E. Op. cit. P. 138.

ным прослеживается в докладе *Екатерины Мельниковой «Аффективная коммеморация и чувствительные места памяти»* в движении от вопроса «Является ли аффективность природным свойством памяти и воспоминаний?» — к предварительному выводу, что продуктивнее говорить не о разных проявлениях чувствительности в отношении к прошлому, а о различных, подвижных свойствах повествования о прошлом. В своем докладе Мельникова провела сравнение между двумя интервью, демонстрирующими два противоположных принципа отношения к прошлому: в первом случае исследовательница рассматривала интервью с участницей акции памяти, передавшей городскому музею дневник своего деда, во втором — интервью с руководительницей поискового отряда, рассказывавшей о том, как она начала заниматься поиском. Несмотря на то что в обоих интервью речь идет о практиках, осмысляющих прошлое как нечто рукотворное, их эмоциональный тон различен: первой собеседнице было важно подобрать такие речевые средства, которые соответствовали бы возвышенной эмоциональности описываемого момента — момента, когда она нашла тетрадь с записями и смогла распознать почерк деда; об особом, эмоциональном отношении женщины к этому воспоминанию, по словам Мельниковой, в конце концов свидетельствовала ее сложная, выразительная и образная речь. Второе интервью содержит пример противоположного, неэмоционального отношения к прошлому, проявляющегося в простом, безыскусном языке и спокойных интонациях. Однако больше, чем речевая лапидарность, Мельникову поразило построение этого рассказа: в нем не было никаких переломных моментов, способных объяснить решение собеседницы возглавить поисковый отряд. По выражению Мельниковой, во втором интервью «момент трансформации — начало поиска — встраивалось в простую линию жизни».

Более пристальное внимание к противоречиям частной и коллективной памяти о Великой отечественной войне и к возможным реакциям на эти противоречия уделяют доклады *Дарьи Хлевнюк «Вклад лагеря в победу. Тема ВОВ в российских экспозициях о репрессиях»* и *Михаила Мельниченко «Между досугом и тетой activist: работа волонтеров проекта “Прожито” с дневниками военного времени»*. Хлевнюк обратилась к конфликту между нарративами о Великой Отечественной войне и политических репрессиях, связь между которыми ощущается в постсоветское время как несомненная, но неоднозначная: несмотря на то что события происходили в один и тот же период, участие в войне и осуществление политических репрессий ощущаются как эмоционально разнонаправленные и с трудом согласуемые друг с другом события. Большинство публичных попыток связать оба сюжета моментально обнаруживают нехватку слагающей убедительности и, как правило, приводят к расколу общества на тех, кто готов остановиться на том, что ГУЛАГ был необходим для победы в войне, и на тех, кто продолжает возвращаться к вызывающей связи этих событий. Во всех российских регионах, в которых когда-то находились политические лагеря, встают вопросы о том, как реализовать эту связь, о том, какой повествовательный тон мог бы резонировать с героико-эпическим и трагическим сюжетом постсоветской памяти, и о том, наконец, стоит ли стремиться к примиряющей развязке конфликта. В порядке предварительного итога Хлевнюк отмечает, что во многих коммеморативных пространствах, работающих с постсоветской памятью о сталинских репрессиях, можно наблюдать попытки создать новое измерение памяти о политических заключенных как о героях, внесших свой вклад в победу. И все же вопрос, как будут сочетаться эти истории в дальнейшем, открыт, поскольку аффективные сдвиги между ними могут привести к тем результатам, для осмысления которых у исследователей еще нет моделей описания.

Как отмечалось ранее, репаративная критика по определению не может оправдать ожидания тех, кто видит в ней средство для преодоления «неудобной» амби-

валентности Другого. Главный ее посыл состоит в разрушении того, что американский исследователь Сильван Томкинс назвал монополистической теорией аффекта, то есть такой стратегии интерпретации коммуникативных ситуаций, при которой субъект заставляет Другого реагировать прогнозируемым образом и подтверждать уже сложившееся мнение о нем. О том, насколько болезненным может быть разрушение монополистической, параноидальной теории аффекта, косвенно свидетельствуют факты, представленные Михаилом Мельниченко в его докладе о волонтерах проекта «Прожито». По словам Мельниченко, всех добровольцев, участвующих в работе с корпусом личных дневников, можно условно разделить на четыре группы: людей, которые приходят в проект за досугом и не имеют никаких представлений о дневнике как материальном источнике; исследователей, интересующихся определенной тематикой; людей, заинтересованных в общении, и, наконец, идейных участников, присоединяющихся к проекту, чтобы исполнить долг памяти. Оценивая производительность каждой категории, Мельниченко приходит к выводу, что представления о долге памяти дают в волонтерстве меньшие результаты, чем нацеленность на организацию досуга, так как идейные участники, как правило, не остаются в проекте надолго. Дело в том, поясняет докладчик, что люди, приходящие в «Прожито» за подтверждением своей интерпретации событий 1941—1945 годов, теряют волю и интерес к добровольческой работе, когда дневник сталкивает их с обратной картиной военных действий и жизни в тылу.

Если, как позволяет заключить доклад Мельниченко, в основе паранойи лежит теория, то можно ли утверждать, что любая теория параноидальна, то есть, с одной стороны, что она неизбежно расщепляет изучаемые объекты на хорошую и плохую сторону, а с другой стороны, что ее существование — вызов другим теориям?

### Автотеория. Множественное «я»

Последний вопрос вдохновлен не только выступлением Мельниченко, но и семинаром «*Теоретизируй себя: Автотеория и психоанализ*», проходившим в рамках ежегодной встречи Американской ассоциации сравнительного литературоведения (American Comparative Literature Association) с 8 по 11 апреля 2021 года<sup>5</sup>. Участникам семинара предлагалось поразмышлять о том, как соотносятся между собой автотеория и психоанализ, а также о том, как вернуть обе дискурсивные практики самоанализа к общим, подавленным и неоднозначным истокам. Такая постановка вопроса обусловлена тем, что, с одной стороны, психоанализ со времен Фрейда имеет тенденцию вытеснять автотеоретичность и автобиографичность производимого им знания, а с другой стороны — тем, что такие «канонические» автотеоретические писатели, как Мэгги Нельсон, Крис Краус, Поль Пресьядо, одновременно опираются на психоаналитическую теорию и сопротивляются ей, как будто новорожденный жанр не может обойтись без отрицания психоанализа.

Конференция открылась докладом *Кэролайн Лобендер «Говори за себя: Психоанализ, Автотеория и множественное»*, цель которого — через параллельное чтение «Толкования сновидений» Фрейда и «Аргонавтов» (2015) Мэгги Нельсон проследить за тем, как автотеория вырабатывает новое понимание субъекта. Опираясь на наработки фрейдовского психоанализа, и в частности на теорию расщепленного

5 Подробнее об автотеории и первой монографии, посвященной этой теоретической оптике, см.: *Яковец А.* Рец. на кн.: Fournier L. *Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism* — Cambridge, MA: The MIT Press, 2021. — 320 p. // Новое литературное обозрение. 2021. № 171. С. 364—367.

субъекта (англ. split subject), современная автотеория делает шаг навстречу теории «множественного «я»» (англ. plural self). На примере «Аргонавтов» Лобендер показывает, что стремление представить «я» как плюралистичное не в последнюю очередь мотивировано этико-политическим желанием автотеории обратить внимание на то, какую роль Другой (точнее, Другие) играет в становлении субъективного опыта индивида. Это желание в буквальном смысле формирует автотеоретический текст, который растворяет голос автора в бесконечных цитатах и отсылках к философским и психоаналитическим работам, в частности к текстам Зигмунда Фрейда. В этой связи встает вопрос о том, может ли автотеория как теория множественного «я» обойтись без цитирования текстов, авторы которых не разделяют столь широкого и гибкого понимания субъектности? И если да, то что позволяет автотеории сохранить непредвзятость по отношению к психоанализу?

По мнению докладчицы *Ким Коутс*, высказанном в выступлении «*Революционизируя психоанализ: Феминистические квір-автотеории*», психоанализ сам оберегает автотеорию от параноидального отрицания всего, что не согласуется с ее пониманием идентичности. При этом Коутс понимает под психоанализом не столько дискурс, циркулирующий в практиках письма и чтения, сколько устную психоаналитическую работу, совершаемую аналитиком в присутствии пациента. В своем рассуждении Коутс отталкивается от опыта Поля Б. Пресьядо, автора важнейшего для автотеории текста, «телесного эссе» (англ. body essay) «*Testo Junkie: секс, наркотики и биополитика*» и постоянного пациента психоаналитиков. Свидетельства Пресьядо важны для Коутс, в первую очередь по той причине, что в ходе психоаналитических сеансов небинарный философ заставлял аналитиков отступить от диагностических протоколов, предназначенных для гендерно-конформных пациентов, и выработать для него новый тип психоаналитического дискурса — квір-психоанализ (англ. queer-psychoanalysis).

На диаметрально противоположных посылах строился доклад «*Неавтофикшн: Жанр, гендер и отрицание автотеории в Testo Junkie*» *Натана Дугласа*: в понимании этого исследователя уникальный репаративный потенциал автотеории обусловлен тем, что в ее основе лежит психоаналитическое отрицание — и отрицание психоанализа. Об отрицательности своего авторского замысла Пресьядо заявляет уже в первой фразе вступления: «Эта книга не автофикшн». При этом Дугласа интересует не столько сознательное намерение отрицать и переписывать предшествующие практики автофикционального повествования, сколько еле слышное и, возможно, бессознательное эхо другого отрицания, о котором Фрейд пишет, что оно несет в себе возможность обойти психическую цензуру и вступить во взаимодействие с частью вытесненного представления. Раскрепощающий эффект отрицания ощущается и в напористом движении мысли Пресьядо, стремящейся на ходу охватить, измерить и в то же время отменить границы рождающегося здесь и сейчас способа письма: «Эта книга не автофикшн. <...> Телесное эссе. Фактически литература. Если утрировать, это соматополитическая литература, теория себя, или автотеория»<sup>6</sup>.

Несмотря на то что с момента первой публикации «*Testo Junkie*» прошло уже тринадцать лет, текст Пресьядо продолжает занимать особое место в ряду других автотеоретических текстов. Причиной тому, как можно заключить из доклада Дугласа, — предельная последовательность Пресьядо в исследовании продуктивных и раскрепощающих возможностей отрицания в условиях «фармакопорнографического режима», при котором телесность, сексуальная и гендерная идентичности

6 *Preciado B. Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the pharmacopornographic era.* New York: The Feminist Press, 2013. P. 11.

являются производными технологий дискурса, медицинского и психоаналитического вмешательства, биохимического и биополитического производства. Таким образом, именно психоанализ и смежные практики определяют то, какая сексуальность считается доступной для понимания и приемлемой, а какая нет. Наделяя тело специфическим для гетероцентристского социального контракта сексуальным желанием, психоанализ, по мнению Пресьядо, превращает его в фетиш, то есть в то, что скрывает болезненную утрату желанного объекта, — сверхчувствительного эrogenного тела, способного быть маскулинным и феминным, гомосексуальным и гетеросексуальным одновременно. Превратившись со времен выхода «Testo Junkie» в одного из самых цитируемых авторов квир-теории и, таким образом, своими текстами напрямую способствовал фетишизации автотеории, Пресьядо, по мнению Дугласа, соединяет в автотеоретическом письме принципы эстетического (и следовательно, поощряющего интерпретацию) и товарно-фетишистского (запрещающего всяческую интерпретацию) производства знаков и тем самым делает жанр автотеории одним из возможных посредников самого сокровенного знания психоанализа: не то, что каждый акт чтения является актом письма, или наоборот, а то, что письмо и чтение неизбежно возвращают нас к фетишу как «месту отсутствия» (англ. place of lack) и исходной точке знания, в которой, говоря словами Делеза, «еще можно было [наивно] верить» в то, что мы когда-нибудь обретем объект сокровенного желания<sup>7</sup>.

Наконец, в последнем докладе конференции, «Совместимые извращения: Эротизация отращения в автотеории Мэгги Нельсон», Эрика Галиото предложила применить к отношениям автотеории и психоанализа психоаналитическое понятие «экстимность». В лакановском психоанализе термин «экстимность» (фр. extimité, образовано от фр. extrémité 'край, граница, предел' и intimité 'интимность, близость') используется для описания парадоксального, децентрированного равновесия между внутренним и внешним в психической реальности. Так, экстимным по отношению к субъекту является Другой как интернализированное средоточие чуждости, или бессознательное как дискурс Другого, одновременно существующий благодаря и вопреки желаниям, страхам и намерениям «я». Для Галиото первостепенное значение имеет тот факт, что для Лакана экстимность «существует независимо от знаков сознательной идентификации», будь то гендер, сексуальность или приверженность определенной школе культурного анализа. Развивая это утверждение, Галиото в первую очередь следует за автотеоретическим первоисточником, «Аргонавтами» (2015) Мэгги Нельсон, рефлексизирующим как на уровне сюжета, так и через эксперименты над формой над пересечениями между «я» и Другим, пронизываемостью границ, составляющих индивидуальный психический опыт, а также тем, что Нельсон называет «совместимыми извращениями» (англ. compatible perversities), то есть «бесконечной способностью [субъекта к перевоплощению], проявляющейся в практиках совместной вовлеченности в состояния, которые не укладываются в пределы лишь сознательной символической самоидентификации». Рискну предположить, что внимание к подобным областям опыта, в которых субъект вступает в бессознательный, преобразующий резонанс с чем-то отличным от него, позволяет лучше понять то, что репаративная критика и автотеория противопоставляют герменевтике подозрения, — их стремление отдать должное той части идентичности, которая не является собственностью субъекта, то есть тому внутреннему имуществу, которым он владеет сообща с кем-то еще — с близкими и чужими, живыми и уже умершими людьми.

---

7 Deleuze G. Coldness and Cruelty. New York: Zone Books, 1991. P. 31.

На фоне обвинений в нарциссизме, раздающихся сейчас в адрес автотеории с той же частотой, что и ранее — в адрес психоанализа, особенно хорошо виден тот момент, в котором оба направления анализа остаются солидарными от начала и до конца, а именно: то, что самонаблюдение неотделимо от наблюдения за Другим (не в последнюю очередь в себе), а также от попыток обрести близость с этой дружностью. Возможно, именно сейчас, по мере того, как круг существующих рядом с нами тел все больше сужается, психоанализ и автотеория начинают говорить не только за себя, но и за другие теории, обозначая общую потребность в осмыслении новых форм близости.

## Близость

Эта потребность также чрезвычайно интенсивно была обозначена в серии лекций «Интимность» Берлинского института культурных исследований, проходившей с февраля по апрель 2021 года при участии философа *Жана-Люка Нанси* и культуролога *Тима Дина*.

Несмотря на то что Нанси и Дин подходят к осмыслению центрального понятия цикла с разных теоретических позиций — с феноменологической и деконструктивистской в случае Нанси и позиции квир-теории в случае Дина, — оба исследователя и автора оказываются едины в попытке осмыслить близость через конкретное проявление жизни тела. Так, Жан-Люк Нанси посвятил свое выступление аналогии «близость — это прикосновение». В лекции «*Touche-touche*» (фр. 'почти касаясь; очень близко') Нанси представил основные положения своего философского проекта, посвященного «голому существованию» тела за пределами метафизики, которые до этого были изложены в таких текстах, как «*Corpus*» (1992) и «Не тронь меня» (2003). В добавление к рассуждениям о неизбежной обоюдности (нельзя коснуться другого тела и не стать объектом касания в ответ) и трансцендентности касания (прикосновение всегда «вытаскивает» субъекта за пределы его телесного существования) Нанси уделил особое внимание коже как «органу прикосновения». Кожа, отмечает философ, не только соединяет все органы чувств, не смешивая их между собой, но и является особой чувствительной поверхностью, которая преобразует движение в аффект и тем самым гарантирует тождественность жеста и порождаемой им эмоции, внешнего и внутреннего.

На фоне пандемии особое звучание приобретает рассуждение Нанси о коже как плоскости, на которую проецируются культурные запреты на прикосновение к священному, низовому или зараженному телу. Несмотря на то что практически любое табу можно свести к универсальной формуле «Не трогать!», касание, по мысли Нанси, таит в себе возможность преодоления запрета, так как прикосновение приводит в движение и заново «изобретает» (англ. *reinvent*) тело, к которому изначально применялся запрет (в этом месте Нанси опирается на внутреннюю форму немецкого глагола *berühren* 'касаться', образованного от глагола *rühren* 'мешать' или 'поднимать со дна').

В то время как Нанси рассматривает тактильную близость с универсальной дистанции, уравнивающей пандемию с остальными периодами существования человеческого сообщества, Тим Дин, автор книги «Неограниченная близость», сформировавшей квир-теоретическое осмысление близости, исходил в своей лекции из ощущения, что «грамматика близости пережила радикальные изменения в условиях пандемии». Чтобы зафиксировать эти изменения, Дин прибег к аналогии между эпидемией, вызванной вирусом SARS-CoV-2, и началом эпидемии ВИЧ/СПИДа в 1980-х годах. Нужно сказать, что риторический прием сравнения

во многом повторяет описанную Нанси логику касания: сравнивая две вещи, мы неизбежно соединяем то, что за секунду до этого существовало отдельно друг от друга, и в то же время указываем на тот предел, за которым заканчивается их сходство. Неосознанно подчиняясь этой логике, Дин сначала указал на невероятное сходство обеих эпидемий, заключающееся в том, что в обоих случаях распространение безвредного вируса сопровождалось столь же широкомасштабным заражением общества вирусами страха и неверия. Главный симптом эмоционального заражения Дин видит в альтеризации инфекции, то есть в истолковании ее как болезни меньшинств — гомосексуалистов и наркоманов в случае ВИЧ/СПИДа и китайцев или пожилого населения в случае «короны».

Тем не менее сходство обеих эпидемий не может быть полным, так как в отличие от ВИЧ вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем и тем самым предполагает совершенно иную форму близости. Новая близость создается не проникающим прикосновением, а дыханием, в процессе которого мы выпускаем в себя воздух, которой только что выдохнул другой человек. Несмотря на то что последние полтора года прошли под знаком борьбы за контроль, как правило, над нежелательной респираторной близостью, ее автономность от желания субъекта таит в себе мощный политический аспект. Не случайно, отмечает Дин, общим лозунгом двух самых масштабных событий уходящих лет, протестов общественного движения «Black Lives Matter» и эпидемии коронавирусной инфекции была фраза: «Я не могу дышать». Марши протеста, прокатившиеся по США и Европе во время первой волны эпидемии, объединили вокруг себя самых разных, и в том числе нечернокожих, людей, тем самым показав, что вопреки социальным, гендерным, сексуальным и расовым различиям, в обществе присутствует острая потребность ощутить себя как единый политический организм. Откликаясь на эту потребность, респираторная политика побуждает нас искать спасение от вируса страха и паранойи в близости с окружающими телами — неосознанной и такой же естественной, как дыхание.

*Анна Яковец*

## **Цифровые платья, медицинские маски и шапка с рогами:**

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 2020—2021 ГОДОВ  
В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ МОДЫ

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_173\_1\_415

Начиная с весны 2020 года значительная часть научных конференций, как и большинство других событий на различных уровнях общественной и частной жизни, происходила в онлайн-формате. Несмотря на наши усердные попытки приспособиться к «новой нормальности» и как ни в чем не бывало планировать мероприятия, выступать с докладами и вести секции, жизнь неумолимо вносила свои коррективы, досадные и комические, — от сбоев связи до появления на экране домашних